

«Мне кажется, что я прожила не одну, а несколько жизней. В ней было много контрастов, и судьба моя тесно переплелась с событиями, происходившими в нашей стране за многие годы. На моей памяти прошли войны 14-го и 41-го годов, февральская и Октябрьская революции, гражданская война, голод, разруха. Трудные годы студенчества. Затем жизнь и работа за границей. А дальше арест, тюрьма и высылки; наконец, возвращение к жизни с нуля. На этом пути встретились мне многие интересные, а порой и известные всем люди».

Так начинается рассказ о своей жизни Елена Георгиевна Жуковская. Мы печатаем главы из этой еще не опубликованной книги вовсе не потому, что автор ее химик и среди «интересных, а порой и известных всем людей», с которыми читатель встретится на ее страницах, немало крупных и выдающихся представителей химической науки. Причина скорее все-таки в тесном переплетении авторской судьбы и судьбы страны, в том, что перед нами не показания свидетеля событий, а записки их участника.

Пожалуй, к короткому авторскому предисловию больше добавить нечего, разве что стоит посоветовать, что журнальный вариант книги, как это чаще всего бывает, заметно уступает полному.

Итак, как это было...

Страницы истории

Как это было

Е. Г. ЖУКОВСКАЯ

В 22-ом году, когда я поступила в МВТУ и волею судеб попала на химический факультет, состав студентов первого курса был очень пестрым. Были ребята из средних школ, с заводов и сел, окончившие рабфаки, и взрослые люди, вернувшиеся с фронтов гражданской войны, превратившие учебу в годы революции.

Лабораторные занятия вел в нашей группе молодой преподаватель, симпатичный вихрастый блондин Михаил Михайлович Дубинин. Мы были его первые студенты, он наш первый преподаватель. И сразу же случился курьез. Ваня Столяров, крестьянский сын, очень старательный паренек, выслушав подробное объяснение о работе с аналитическими весами, требующими тщательной установки, неподвижности, схватил их и побежал вслед за преподавателем, чтобы еще о чем-то спросить. Он же, Ваня, заноса в тетрадь последовательность операций при решении лабораторной задачи, написал: «Берем колбу за горло и ставим ее в стойло».

Однако многие из тех ребят стали известными учеными — профессорами, академиками...

Николай Александрович Шилов начал читать нам курс неорганической химии только со второго полугодия. Лекции его были увлекательны, артистичны — на них старались попасть студенты с других факультетов: Николай Александрович увлекался сам и увлекал своих слушателей. Он был прекрасным педагогом и большим ученым, успел побывать во многих странах, поработал в лаборатории Резерфорда и у Оствальда. Во время первой мировой войны получил чин генерала за создание вместе с Н. Д. Зелинским первых противогазов с активированным углем. Плеханов называл Шилова одним из самых вы-

дающихся русских материалистов-химиков.

По характеру это был человек очень экспансивный. К себе он относился довольно критически: «всегда шумит, не разобравшись толком» — так заканчивалось шутивное стихотворение, которое Николай Александрович написал сам о себе. Одевался он совсем не по-профессорски. В свободной блузе, волосы зачесаны назад, он больше походил на художника. Писал стихи, играл на скрипке, был европейски образован.

Весной 23-го года проходил экзамен по неорганической химии. Принимали его Шилов и его ассистентка Лидия Карловна Лепинь, которая впоследствии стала академиком АН Латвийской ССР. Я сдавала самому Шиллову и страшно волновалась, трепетала. Передо мной сдавала наша хорошая студентка Наташа Ильина. Она вылетела из кабинета пулей, а Николай Александрович мчался за ней по коридору и кричал: «Так, по-вашему, хлор на воздухе горит?» Каково мне было после этого? Когда я закончила отвечать, Николай Александрович взял с полки книгу Финдлея «Правило фаз», в которой я тогда ничего понять не могла, и написал на титульном листе: «Моей ученице Елене Шатуновской*, проявившей химическое мышление». Об этом сразу же узнал весь наш курс.

В те времена с педагогами у студентов устанавливались самые тесные связи. Уже на третьем курсе мы бывали приглашены домой к Николаю Александровичу. Он играл нам на скрипке, показывал стереоснимки, сделанные во время его многочисленных путешествий по Европе, Египту и другим странам.

Училась я долго, — с осени 22-го до весны 29-го года. Тогда разрешалось получать диплом с двумя профилями: инженера и научного работника. Инженерный проект на тему «Производство латуни в электрических печах „Аякс“» я делала у Анатолия Михайловича Бочвара. Сам Бочвар об этих печах, новых в технологии цветных сплавов, ничего не знал, а я уже два раза была на практике

* Девичья фамилия Е. Г. Жуковской. — Ред.

на Кольчугинском заводе и собрала весь необходимый для проекта материал.

Научную дипломную работу «Взаимодействие металлов с растворами солей. Кинетика процесса» я делала под руководством Шилова, а результаты в соавторстве с ним были опубликованы в «Журнале Русского физико-химического общества». Однажды, когда статья уже появилась в журнале, к нам домой явился «бой» в мундире с галунами с корзиной роскошных цикламенов, пачкой отписок статьи и запиской от Николая Александровича, в которой он поздравлял меня с началом научной деятельности и желал дальнейших успехов.

Умер Ленин. Чтобы попасть в Дом Союзов, где в Колонном зале стоял гроб с телом Владимира Ильича, нужно было выстоять ночь. Лютый мороз. Я была в папиной шубе и в валенках, мама тоже закуталась так, что видны были одни глаза. На улицах и площадях жгли костры, у которых грелись люди, — иначе не выстоять. Все стихийно, никаких организаторов, ответственных, никаких списков. Просто люди шли и шли. Вся Москва была там.

Вторым человеком после Ленина считали Троцкого. Ленина я не видела никогда. А Троцкого не только видела, но и слышала его доклад о Диброхиме. Оратор он был классный и буквально гипнотизировал слушателей. Позже, когда Сталин отстранил его от партийных и государственных дел, он был назначен председателем Главконцесскома, который находился по соседству с нашим домом — Малая Дмитровка, 18. Поговаривали, что скоро Троцкого вышлют из страны.

Я надумала попросить Яшу* как-нибудь устроить, чтобы я могла увидеть Троцкого близко. «Больно просто», — сказал Яша и написал письмо ему, пометив на конверте «лично», чтобы я могла передать письмо во собственные руки Троцкого.

И вот с утра с отправилась в Главконцесском и узнала от секретаря, что Лев Давыдович будет позднее.

— Оставьте, я передам письмо, — сказала секретарь.

— Нет, только в собственные руки.

— Тогда ждите, он будет нескоро.

Проходит час, другой. Мама будет беспокоиться. Я решаю забежать домой, благо это рядом, и успокоить маму. Письмо при мне. Второпях открываю дверь, чтобы выйти, а мне навстречу идет человек, придерживая у живота большой портфель. Я так и вреза-

лась в этот портфель. Троцкий, а это был он, стал извиняться, я тоже. Затем я отдала письмо.

Мы обменялись всего несколькими словами, зато я вблизи увидела знаменитого героя Октября и гражданской войны, о котором столько говорили. Небольшой, я бы сказала, даже невзрачный на вид смуглый человек в кожанке, с бородкой и в пенсне, очень бледный.

Вскоре его выслали.

Одной из самых выдающихся фигур на химическом факультете МВТУ был академик Алексей Евгеньевич Чичибабин — наш декан и одновременно заведующий кафедрой органической химии. Всемирно известный ученый, он, однако, дарованием лектора не обладал. Был рассеян, часто забывал, о чем только что говорил, заслонял собою написанное на доске.

Для нас практиicum органического синтеза и сам курс органической химии были трудными. А со мной в лаборатории еще произошел такой казус. Нужно было наладить перегонку полупродукта с водяным паром, а для этого требовалось в резиновую пробку паровика вернуть стеклянную трубку. Когда я изо всех сил нажала на трубку, она треснула, и острый конец стекла вонзился в ладонь. Началось сильное кровотечение. Кто-то из студентов закричал, что я перерезала вену и сейчас же умру. С перетянутой резиновым шлангом рукой меня отправили в медпункт.

Закончить практиicum и сдать экзамен в срок я уже не могла, но Алексей Евгеньевич успокоил меня, сказал, что летом во время ремонта лаборатории он будет работать в своем кабинете и тогда сможет принять экзамен.

На сдачу экзамена я пришла, когда уже начались каникулы, как-то во второй половине дня. Позвонила у двери кабинета. «Ах, это вы? Ну хорошо, я вам сейчас дам задание, вот книги, учебники, справочники. Можете пользоваться, а я пойду домой пообедаю». Он ушел и запер меня снаружи.

Кабинет Чичибабина был всегда заперт: он работал с алкалоидами, на полках стояли банки с устрашающими изображениями черепов.

Я давно приготовилась к ответу, а он все не возвращался. Время шло, ремонтники ушли, тишина, я одна в пустом здании. Поздние летние сумерки, часов у меня нет, кругом черепа. Я наволновалась перед трудным экзаменом, проголодалась, мама беспокоится, в общем, я расплакалась...

И вдруг слышу быстрые шаги по коридору. Алексей Евгеньевич в спешке не может попасть ключом в замочную скважину. Взволованный, запыхавшийся, он говорит мне:

* Яков Шатуновский — старший брат отца Е. Г. Жуковской, активный участник революции и гражданской войны, в 20 — 30-е годы занимал крупные хозяйственные посты. — Ред.

— Простите, бога ради, я совершенно забыл о вас!

Посмотрел мои листки, поставил «уд», мы вместе ушли. С той поры он неизменно первым здоровался со мной.

Многим известна страшная трагедия в жизни Алексея Евгеньевича. У него была единственная дочь Наташа, наша студентка, в то время учившаяся уже на третьем курсе. Двадцатилетняя очаровательная девушка, умница, с широким кругозором. Отец брал ее с собой во все заграничные поездки.

Летом 30-го года она проходила производственную практику на Дербеневском красочном заводе. Дежурила у сульфураторов, где под давлением обрабатывались горячей концентрированной серной кислотой промежуточные продукты производства красителей. В обязанности практиканта входило время от времени брать пробу для анализа, перед этим аппаратчик во избежание выброса понижал давление до атмосферного. То ли аппаратчик дал промашку, то ли отказал манометр, но когда Наташа открыла люк, струя горячей серной кислоты хлынула ей на грудь и свалила ее с ног. Смерть ее была мучительной.

Родители обезумели от горя. Алексею Евгеньевичу дали командировку во Францию на полгода в надежде, что перемена обстановки спасет их. Французы создали для Чичибабина все условия, он начал работать.

Когда я в начале тридцатых годов жила в Германии, от нас к Алексею Евгеньевичу посылали его бывшего ученика с поручением переговорить о возвращении на родину. Но Чичибабин не вернулся, в 45-ом году в возрасте семидесяти четырех лет он умер во Франции.

О пестроте студенческого состава МВТУ я уже писала. Были среди нас мальчишки и девочки, были и взрослые, зрелые люди, прошедшие гражданскую войну, а иные и фронты мировой войны.

К числу последних относился и Семен Борисович Жуковский. Он поступил в МВТУ в двадцать втором году, когда ему было 26 лет. До мировой войны он проучился год в Киевском политехническом и был призван в армию в чине поручика; в феврале семнадцатого вступил в партию большевиков и в гражданскую войну стал комиссаром. Летом девятнадцатого он должен был заменить Фурманова в Чапаевской дивизии, но пока добирался к месту назначения, Чапаев погиб. Окончание гражданской войны застало Семена Борисовича на посту комиссара Балтийского флота.

Мы мало общались с этими взрослыми, много испытывшими и занимавшими прежде

значительные должности партийными товарищами. Жуковского избрали представителем от студентов химического факультета в ректорат МВТУ, на сходках он выступал от нашего имени, был нашим лидером. Для нас это была фигура героическая, недоступная, овеванный легендами человек из иного, не нашего мира.

В 25-ом году, когда Жуковский перешел на четвертый курс, его вызвал к себе Микоян и сказал, что сейчас не до учебников, есть большая нужда в культурных и верных партии, проверенных людях для работы за границей; председателю ВСНХ Пятакову требуется представитель его ведомства в Берлине. «Нам нужен большевик-биржевик, — продолжал Микоян. — И мы рекомендуем тебя. Нужна валюта для развития народного хозяйства. Дело это тонкое, изучишь его и будешь действовать». Жуковский оставил учебу и с женой и годовалым ребенком отправился в Берлин.

Перед его отъездом друзья — студенты «старшего поколения» Михаил Питковский, Гайк Овакимян, Шахмурадов устроили ему проводы. (Все трое в тридцатые годы занимали очень ответственные посты, они не избежали участи многих — были арестованы, а Питковский и Шахмурадов — расстреляны.)

Проводы решили устроить в ресторане на крыше дома Нерензее, что в Большом Гнездиновском переулке. Когда обсуждали кого пригласить, Жуковский предложил разбавить чисто мужскую компанию. Так в шикарном нэповском ресторане оказалась я со своей подругой Олей Баевой.

При свете цветных фонариков, в окружении разодетых женщин мы выглядели настоящими золушками. И хотя были польщены, что именно нас пригласили на проводы Жуковского, чувствовали себя скованно: не знали, что говорить и как вести себя. Однако скучно не было, да и ужин оказался очень вкусным.

Когда пришло время расходиться, один из «взрослых» пошел провожать Олю, а Жуковский — меня, так как ему было по дороге. Стояла теплая июньская ночь. Мы долго бродили по бульварам и только около двух часов ночи распрощались у моих дверей. Ни он, ни я не ведали, какое место займем в жизни друг друга.

Летом 28-го года меня и Олю Баеву включили в группу студентов, которая отправилась на экскурсию по Кавказскому побережью. До Туапсе мы доехали поездом, а оттуда пешком с остановками на турбазах должны были дойти до Гагр. Путь наш лежал через Сочи, а там в это время в санатории Совнаркома отдыхал наш Яша. Я предложила наве-



Профессор М. Поляни (в центре) среди сотрудников своего отдела.

Первая слева в первом ряду — Е. Г. Жуковская.

стить его, и мы всей группой отправились к нему.

— Вы ведь все из МВТУ, — сказал он. — А знаете ли вы, что здесь отдыхает ваш ректор Николай Петрович Горбунов? Я сейчас его найду и приведу сюда.

Горбунов был в отличном расположении духа, приветлив, шутил с нами, а потом вызвался показать окрестные красоты.

Большого движения на дорогах тогда еще не было. Едем неспеша в открытой машине, непринужденно беседуем со своим ректором и вдруг замечаем на шоссе птенца. Николай Петрович сразу остановил машину. Он взял птенца в руки, объяснил нам, что эта птица — кобчик, из семейства соколиных. Мы удивились его осведомленности. Мне тоже захотелось поддержать маленького хищника. Только я протянула к нему руку, он впился когтем в мою ладонь, а коготь был загнутым. Пришлось Николаю Петровичу выдернуть его.

Птенца отнесли в сторону от дороги, чтобы не попал под колеса, посадили в чаше на ветку, а у меня остался на всю жизнь шрам — память о встрече с прекрасным человеком. Было Горбунову в ту пору всего 36 лет! В 37-ом году и он стал жертвой

Сталина, был расстрелян, а в пятидесятые по смертно реабилитирован...

Пока жива была мама, в день моего рождения (27 февраля) всегда пекли пироги, готовили вкусный ужин, приглашали гостей. Запомнился день моего двадцатилетия. Пригласили товарищей-студентов, пришел папа и кое-кто из родных. Все как всегда, но неожиданным подарком для всех стал приезд Корнея Ивановича Чуковского. Еще перед революцией, когда он и папа были молодыми журналистами, они часто встречались, мы бывали у Чуковских в Куоккале. Позднее, когда Корней Иванович приезжал в Москву, он непременно останавливался у Яши — в Доме на набережной. Счастливый случай: мой день рождения как раз совпал с пребыванием Корнея Ивановича в Москве. Еще днем он прислал нам целый куст белой сирени с милой, смешной запиской — четверостишием. А потом приехал и сам, весь вечер он был центром веселья. Помню, что прочел нам свое новое, еще нигде не напечатанное детское стихотворение «Лягушки и черепаха».

Окончив МВТУ в 29-ом году, я осталась аспиранткой на кафедре Шилова вместе с двумя Константинами Васильевичами — Астаховым и Чмутовым. Нас на кафедре называли «шиловским детским садом». Кроме научной работы, мы должны были вести лабораторный

практикум и семинарские занятия со студентами. По понедельникам Шилов устраивал коллоквиум, где докладывали результаты текущих работ, делали обзоры научной литературы, а в заключение всегда была чайная церемония. Чай заваривали в больших термосах и к нему подавали печенье «Лэнч» и пастилу. Чайной церемонией ведала я.

Вскоре в моей жизни произошло еще одно важное событие. После пятилетней работы в Германии вернулся в Москву и был назначен членом коллегии Наркомвнешторга Семен Борисович Жуковский.

По-видимому, в его планы входило увидеть меня, узнать, что произошло в моей жизни за прошедшие пять лет. Несмотря на свою отвагу в годы гражданской войны, он сам не решился напомнить о себе, а попросил об этом Михаила Питковского. Несколько раз мы встречались втроем. Потом однажды Жуковский позвонил мне и сказал, что Миша нездоров, но мы могли бы поехать куда-нибудь, например, в Нескучный сад.

Тогда за Калужской площадью все было по-другому, Ленинский проспект не существовал, город здесь почти не чувствовался. Ярким солнечным днем мы гуляли в парке. Жуковский вдруг стал очень серьезен и сказал, что, хотя он и живет с женой под одной крышей, они разошлись, и жена собирается устраивать свою жизнь наново. Он ей не судья, но и сам должен подумать о себе. Он не собирается жить бобылем и думает жениться.

— Конечно, женитесь, — откликнулась я. — Зачем вам жить одному? Вероятно, у вас уже кто-то есть. Если вы со мной так откровенны, может быть, скажете, кто она.

— Скажу, конечно. Это вы.

— Невозможно!

На следующий день — телефонный звонок. Тон у Семена Борисовича виноватый:

— Простите меня, пожалуйста, я так бесцеремонно позволил себе говорить с вами. Я так сожалел о случившемся, о сказанном... Мы должны встретиться, я все объясню.

И мы стали встречаться. Называть его Жуковский — как-то нескладно, по имени-отчеству — тоже не годится; Сеня, как называли его товарищи, не получается. Но каким-то образом все сложности уладились, мы все чаще бывали вместе, и 25-го мая 1930 года он переехал ко мне.

Никто об этом не знал, кроме соседей. Были такие времена, что интимных вещей не афишировали. Ни Дворцов бракосочетания, ни колец, ни свадеб — в нашем кругу все это не было принято. Жить или не жить с кем-то было сугубо личным делом. Никому и в голову не приходило спрашивать, зарегистрирован ли брак.

Папа пришел однажды вечером и застал

Семена Борисовича. Он сразу разобрался в ситуации, отнесся к нему уважительно и с большой симпатией. Так мой муж вошел как свой в большую и очень дружную семью Шатуновских.

Характерный для тех лет, а для меня весьма памятный эпизод первых месяцев нашей совместной с Семеном Борисовичем жизни. Однажды, возвратясь с работы домой, я нашла в почтовом ящике повестку. Приглашают явиться в тот же день к определенному часу в райсовет, кабинет такой-то. Я решила, что это связано с моей общественной работой в ОСОАВИАХИМе. Наверное, будут раздаваться какие-то грамоты или значки, а может быть, даже задуманы полеты над городом для активистов вроде меня.

Оставила записку Сене и отправилась в райсовет. В коридоре тихо, захожу в означенный кабинет. Навстречу мне из-за стола встает приветливый такой товарищ, хорошо одетый, приглашает садиться, заводит со мной разговор о том, что ему известно, как я успешно окончила МВТУ, поступила в аспирантуру, занимаюсь общественной работой. И вот какое ко мне дело. Я ведь знаю, что мы окружены врагами, что троцкисты готовят покушение на наших руководителей. Одно из предательских гнезд как раз в доме, где я живу, ничего об этом не подзревая. (Я жила в доме, населенном журналистами из «Известий ЦИК», на Малой Дмитровке.) Я не могу не понимать, что каждый сознательный советский человек, а он не сомневается, что я как раз такой человек, должен помочь в борьбе с этим страшным злом, с этой гидрой, чем может. Сижу, киваю головой: конечно же, и я должна тоже бороться с гидрой...

Так вот, моя задача состоит в том, чтобы незаметно следить за журналистами, населяющими наш особняк, знать, кто их посещает, о чем ведутся разговоры, и сообщать ему, хорошо одетому товарищу, обо всем замеченном. Я должна приходить к нему через определенные промежутки времени с отчетом, а подписываться буду условным именем Шура.

Только тут у меня сердце екнуло. Но все равно я понимала, что мне оказано большое доверие, что отказываться нельзя ни в коем случае. Кто же будет стоять на страже интересов нашей страны, если мы откажемся?

— Еще одна небольшая формальность, — сказал мой приятный собеседник. — Все, о чем мы говорили, строжайшая тайна. Ни один человек не должен об этом знать, и мы с вами несем за то полную ответственность.

В чем мне и предлагалось расписаться. Я расписалась и вернулась домой в каком-то тяжелом настроении, хотя с сознанием ис-

полненного долга. Дома меня ждал Сеня. Он сразу же спросил, зачем меня вызывали в райсовет.

Я начинаю вилить — ведь секрет, страшная тайна. Но мой муж умный, опытный человек, — я «раскалываюсь» и пересказываю все как было.

— Так, — сурово говорит он мне. — Иди сейчас же обратно и скажи, что походила по улицам, все обдумала и поняла, что с задачей не справишься. Пусть тебя от этого дела освободят. Что бы тебе ни ответили, пусть самое обидное, стой на своем. Знай, иначе ты погибла.

Когда я возвратилась в райсовет и сказала все, что велел муж, симпатичному молодому человеку, тот мгновенно превратился в обыкновенного хама. Не помню, как я вышла, как дошла до дома — потрясенная, уничтоженная тем, с чем соприкоснулась в тот день.

После отдыха мы возвращались из Тифлиса домой через Баку. На бакинском вокзале Сеня купил в киоске московские газеты. Когда мы устроились в купе и поезд тронулся, я увидела в траурной рамке такое знакомое имя: Николай Александрович Шилов...

Шилов был неистовым альпинистом. Во время очередного восхождения с ним случился сердечный приступ, и там, в горах, его нечем было купировать. Тело привезли в Москву, мы как раз успели к похоронам.

Химический факультет без Шилова. Это было невозможно, не умещалось в сознании. Кафедра осиротела. Мы старались сохранить все как было. Но стало как-то не так. На какое-то время словно отлетела душа лаборатории, хотя сотрудники остались те же и крепко держались шиловских традиций. В первой аудитории факультета и у нас в лаборатории повесили портреты Шилова — копии того, что много лет был выставлен в витрине фотографии Бенделя на Кузнецком мосту. Такой же портрет и по сию пору висит в кабинете академика Михаила Михайловича Дубинина в Институте физической химии.

По правилам прохождения аспирантуры того времени полагалось после завершения работы в своей лаборатории на какой-то срок перейти в родственную лабораторию другого института, чтобы и там провести собственное исследование. Так я в январе 31-го года оказалась в лаборатории Бориса Павловича Брунса в Карповском институте, которая входила в отдел поверхностных явлений, а им руководил академик Александр Наумович Фрумкин. Встретили меня благожелательно, а сам Фрумкин так шутя объяснил свое доброе отношение ко мне:

— Только не подумайте, что я вам как-то

особенно симпатизирую, просто возвращаю долг вашему деду, учившему меня в Одессе математике*.

Работы, выполненные мною на кафедре Шилова и в отделе Фрумкина, были затем опубликованы. На этом заканчивалась моя аспирантура. Я получила о том справку — и все. Никаких привилегий она не давала, ученых степеней в СССР тогда еще не присуждали, они были введены только в 1934 году.

Осенью 31-го года я ждала ребенка, вскоре должна была получить преддровый отпуск, и тут со мной произошел случай, который мог стоить жизни не только моему будущему ребенку, но и мне самой. Я работала с хлором. Баллон и вся установка находилась в вытяжном шкафу. Чтобы пустить ток хлора в систему, нужно было осторожно приоткрыть вентиль баллона, а он никак не поддавался моим усилиям. Тогда я не нашла ничего лучшего, как влезть в вытяжной шкаф и там открыла вентиль так, что вышибло пробки промывалок. Я упала, отравленная хлором. К счастью, в лаборатории были сотрудники. Меня вытащили, позвали Брунса, и он на руках отнес меня к себе домой; он и еще несколько молодых ученых жили на чердаке института. На улице Воронцово Поле (теперь улица Обуха) помещалась больница профзаболеваний имени Обуха. Вызвали специалиста. Выяснилось, что у меня обожжены хлором верхушки легких. Долго я не могла говорить, писала записки. Так я из-за неумения работать на некоторое время стала «героиней» Карповского института. А вскоре, 1 декабря 31-го года благополучно родила. Я всегда мечтала иметь много детей, девочек и мальчиков. Но Сеня не поддерживал моих планов. Его первая дочь, тоже Наташа, умерла в младенчестве в тяжелых условиях военного коммунизма. Был у него от первого брака и сын Володя. Сеня говорил, что наша жизнь не устроена, что мы не знаем, что будет завтра с нами и нашими детьми, поэтому просто негуманно заводить большую семью. Как будто мог заглянуть вперед и увидеть то, что случится со всеми нами в начавшиеся уже тридцатые годы.

В остальном мы жили в согласии. Сеню просто нельзя было не любить, так он был заботлив, внимателен, всегда хорош со мной, несмотря на вечную занятость. В те годы не работа была, а какое-то безумие. Дни путались с ночами. Сидит начальство, значит, все должны быть на месте — вдруг понадобятся. Таких понятий, как рабочее и свободное время, для работников его ранга не су-

* С. И. Шатуновский, известный ученый и педагог, был профессором Одесского университета. — Ред.

ществовало. Кроме того, будучи членом коллегии Наркомвнешторга, он был в весьма натянутых отношениях с наркомом Розенгольцем.

Я надеялась, что найду хорошую няню (тогда еще это было возможно) и смогу после отпуска вернуться в лабораторию. Но все сложилось иначе. Когда я родила, Сеня прислал мне в палату хризантемы и записку, в которой поздравлял и желал скорейшего возвращения с дочерью домой, тем более что он получил назначение на должность заместителя торгпреда в Берлин, и мы должны не позже чем через месяц быть там.

У нас было отдельное купе в международном вагоне. Наташа помещалась в чемодане с отвернутой крышкой. До самой Варшавы никто из пассажиров не знал, что в вагоне едет младенец, так тихо вела себя эта кроха. Мы подумали даже, что хорошо бы нам попросить проводницу присмотреть за ребенком, а самим сесть в экскурсионный автобус, который подают к вокзалу специально для пассажиров Берлинского экспресса, и посмотреть Варшаву. Сене очень хотелось доставить мне это удовольствие. Но, увы, ничего не получилось. Как только мы подъехали к Варшаве, Наташа начала громко плакать и успокоилась только когда поезд тронулся.

На вокзале в Берлине нас встречал Павел Сергеевич Аллилуев, родной брат Надежды Сергеевны — жены Сталина. Он был в чине генерала, работал нашим военным атташе в Германии, с Сеней они были знакомы еще с гражданской войны. В Берлине Павел Сергеевич жил со своей женой Женей и тремя детьми. Мы часто встречались с ними. Потом, в страшные годы пальных арестов, он покончил с собой, а Женю, как и всех Аллилуевых, арестовали.

Павел Сергеевич отвез нас в приготовленную для нашей семьи квартиру в западной части Берлина в Вильмерсдорфе. Красивый восьмизэтажный дом торгпредство снимало для своих сотрудников. В подъезде цветущие олеандры, на лестницах ковровые дорожки. Столовая, гостиная, спальня, детская полностью обставлены, в гостиной роля, постели застелены, как в хорошей гостинице.

Сеню назначили заместителем торгпреда по импорту. Было еще два заместителя: по экспорту — Фридрихсон и по финансам — Файнштейн. Торгпредом был Вейцер, который впоследствии стал мужем Натальи Ильиничны Сац. В конце тридцатых годов и он, и прежний ее муж, директор Госбанка Попов, которого мы знали тоже по Серебряному Бору, где жили после возвращения из

Берлина на госдаче, были расстреляны.

Основной работой в торгпредстве был импорт. В первые пятилетки наш импорт был огромный. На это шли золотые запасы и наше ценное сырье; кроме того, за границу продавались художественные ценности и антиквариат. Продажей ведала жена Горького Мария Федоровна Андреева. Сеня ее хорошо знал, а я ее в Берлине уже не застала — в то время она уже была в Москве, работала директором Дома ученых.

С семьей замторгпреда Абрама Самойловича Файнштейна мы жили в одном доме, подружились. Мои дружеские отношения с ними продолжались потом и в Москве. Антонина Нилловна работала в Берлине в ТАССе stenografistкой. У них было двое очаровательных детей. Потом, уже после смерти Антонины Нилловны, я узнала, что она вместе с мужем, работая в Берлине, а до того во Франции, много лет помогала Рихарду Зорге.

Полпредом в Германии в то время был Лев Михайлович Хинчук. Приемы в посольстве СССР вела жена первого советника Вега Датовна Линде, молодая элегантная грузинка. Супруга посла была отнюдь не светской дамой. Чтобы придать ей подобающий вид, Вега затягивала ее в корсет, тщательно наряжала и тогда только могла показать ее дипломатической публике. Торгпред и его замы должны были являться на приемы с женами. У Вейцера жены не было, а мы, три «замши», всячески избегали этой обязанности. Как себя вести в официальной обстановке, как одеться, о чем и с кем говорить? Требовательная Вега вечно оставалась нами недовольна:

— Молодые женщины, а выглядите монашками... Вы посмотрите только на этих старух, жен послов и министров. Как они оголяются, как свободно себя держат.

Мужья наши являлись в смокингах, а нас специально одевали в Доме моды, но от этого мы никак не сходили за дам европейского света.

Много лет спустя я встретила Вегу Линде в лагерной больнице, где она, хирургическая сестра, спасла мне жизнь. Но об этом после.

Первые четыре месяца я была дома с ребенком, а потом нашлась хорошая няня, немка родом из Бреслау, окончившая Kinderpflege Institut и вырастившая уже двух советских девочек, тоже Наташ. Звали ее Клара Михазль. Она гордилась своим дипломом, носила форму своего института и значок.

Утром во время завтрака она показывала нам накормленного, вымытого ребенка. Когда мы возвращались с работы, мы могли поговорить с Наташей, но вмешиваться в распо-

рядок дня, режим питания и воспитание — ни в коем случае. Фройляйн Клара гораздо лучше знала, что необходимо ребенку, была с ним ласкова и необычайно добросовестно выполняла свои обязанности. Институт ухаживал за нею и, если бы она нарушила его устав, ее бы лишили диплома. Вот как было поставлено дело. Стоило это достаточно дорого, зато стопроцентная надежность.

Клара, естественно, говорила с Наташей по-немецки. За все годы работы в русских семьях она заучила только три слова: «жайчик», «чипленок» и «чемондан». Нам она говорила, что Тати будет знать по-русски все слова, которые знает она — Клара.

По воскресеньям и праздникам, когда Клара со своими подругами по институту уходила на целый день развлекаться и гулять, мы брали реванш. Нарушали весь режим, говорили по-русски, позволяли нашей маленькой дочери все.

Теперь я могла начать работать, ибо для советской женщины не работать, быть на иждивении мужа считалось недостойным. В торгпредстве нашлось для меня место в бюро информации. Поскольку у меня был диплом инженера по цветным металлам и сплавам, я этим и занималась. Попутно всерьез взялась за изучение языка.

В августе 32-го года торгпредству потребовалось командировать специалиста в Кельн, Бонн и Париж для приемки большой партии цельнотянутых дюралюминиевых труб для бурно развивавшейся советской авиационной промышленности. Прокат и профилированный прокат из дюралюминия мы уже производили в Кольчугине, его называли кольчугалюминий, а своих цельнотянутых труб еще не было. Заказ был на огромную сумму.

Мало того, что для столь важного дела требовался человек, знающий алюминиевую промышленность, он должен был хоть как-то владеть немецким и французским. Я по всем статьям подходила. Сеня успокоил меня — Наташу вполне можно оставить на фройляйн Клару, и настоятельно советовал ехать — неизвестно, появится ли когда-нибудь еще такая возможность. Я сомневалась: молоденькая женщина предстает перед директорами крупных европейских фирм в качестве ответственного приемщика заказов огромной страны, а вдруг они просто обведут меня вокруг пальца. Сеня успокаивал: все фирмы очень надежны, солидны и весьма заинтересованы в наших громадных заказах; эти заказы для них хлеб, спасение; я могу подписывать акты приемки буквально с закрытыми глазами.

И я отправилась в путь. Сначала Кельн

с его великолепным собором. Возят меня в лимузине, немцы почтительны, сдержанны. Что они думают о дамочке, которая явилась их контролировать, — неизвестно. Сначала деловой прием в ресторане моей гостиницы, изысканный обед. Толстый повар в белом колпаке при нас на жаровне готовит мясо дикой косули, закуски. Рейнские вина, заморские фрукты. Я стараюсь не взглянуть обалдевшей. На следующий день поездка на предприятие для подписания документов, а перед тем контрольные испытания труб. Все очень солидно. Затем Бонн, где в дюралюминиевой компании повторяются те же процедуры: обед в лучшем ресторане, посещение завода, испытания продукции, подписание документов приемки. Все организовано с немецкой аккуратностью и пунктуальностью — и деловые встречи, и осмотр достопримечательностей. В Бонне я побывала в университете, где занимался Маркс, в сопровождении жены и дочери директора фирмы проехала на пароходе по Рейну.

Всех, должно быть, все-таки удивлял мой облик, никак не соответствующий высоким полномочиям. Тогда в Германии было очень мало женщин-инженеров, а женщин-металлургов, наверное, и вовсе не было.

Из Бонна, не выезжая домой, отправилась в Париж. А там, в пригороде Эпинэ-сюр-Сен, у меня родня. В то время советским командированным за рубеж еще можно было жить у родных, и я три недели прожила с ними. Мои кузены были безработными и зарабатывали тем, что ездили на своей машине с прицепом по городу, собирали у людей требовавшую ремонта мебель и, отремонтировав ее у себя дома, развозили заказчикам. Это давало возможность жить, по нашим советским нормам, более чем обеспеченно. Как они радовались моему приезду, все свободное время мы проводили вместе, где только ни побывали за эти три недели.

Выполнявшая наш большой заказ дюралюминиевая компания помещалась вблизи аэродрома Бурже. Ежедневно за мной приезжал шофер фирмы и после рабочего дня он же отвозил меня в Эпинэ. По дороге я упражнялась во французском языке, беседуя с шофером. Как у меня получалось, не знаю, но французы, впрочем, как и немцы, не уставали меня хвалить и никогда никто не позволил себе помянуть надо мной. В то же время в отличие от немцев, с которыми я имела дело в Кельне и Бонне, непосредственные и живые французы откровенно удивлялись тому, что молодая женщина не может в России выйти замуж и вынуждена ездить по свету за какими-то трубами. Когда я говорила им, что у меня есть муж и девяти-

месячная дочь, они удивлялись еще больше: «Зачем же тогда работать? Неужели муж не может вас обеспечить?» По их мнению, нормальная замужняя женщина должна быть хозяйкой дома, женой, матерью, а старые девы — ну, те пусть работают.

В сентябре 32-го года мы, оставив Наташу в Берлине с Кларой, уехали в отпуск сначала в Москву, а затем в Крым в санаторий ЦИКа. Тогда существовало правило: все советские служащие за границей должны были проводить отпуск на родине. Наверное, чтобы не отвыкали и не отрывались от нее.

Повидавшись с моим отцом, родными и друзьями, мы отправились в Форос. В то время санаторий располагался во дворце Кузнецова, до революции владевшего, если не ошибаюсь, фарфоровыми заводами. По берегу моря растянулся прекрасный парк, второй по красоте и богатству флоры после знаменитого Никитского сада. Сейчас там санаторий ЦК партии, выстроено еще шесть больших корпусов. Парк хорошо сохранился. Я была там с друзьями глубокой осенью 83-го года. Отдыхающих было уже мало, и нас пускали в парк и на пляж этого закрытого санатория. А тогда, в 32-ом году, все жили во дворце, нас было немного, ели за одним большим столом. Плавали, играли в волейбол, гуляли по окрестностям, поднимались в горы. С нами вместе были люди, которых Сеня знал по совместной работе и службе в армии. Он был неизменным капитаном волейбольной команды.

Возвращаясь из отпуска, я побывала у себя в лаборатории и узнала, что химического факультета МВТУ нет больше, все факультеты преобразованы в самостоятельные вузы. Химический факультет стал Академией химической защиты имени Ворошилова, электротехнический — это теперь Московский энергетический институт, кафедра аэродинамики превратилась в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского, строительный факультет стал институтом, МИСИ имени Куйбышева, а механический теперь, собственно, и есть МВТУ имени Баумана.

Наши сотрудники произведены в разные чины, их одели в военную форму. Студенты стали слушателями Академии. Все изменилось.

Побывала я и в Карповском институте у А. Н. Фрумкина, который предложил мне продолжить научную работу в Институте физической химии и электрохимии, входящем в число всемирно известных своими трудами институтов Кайзера Вильгельма. Ученые разных стран стремятся там поработать под руководством ведущих ученых мира. Как же мне этого добиться?

Оказывается, недавно в Москве на конференции по физической химии был один из директоров этого института профессор Михаэль Поляни. Александр Наумович может обратиться к нему с просьбой предоставить мне возможность поработать у него, пока я по семейным обстоятельствам буду жить в Берлине. Сказано — сделано. С рекомендательным письмом в руках я уехала в Берлин.

Поляни принял меня очень хорошо, сказал, что хотел бы продолжить свои связи с русскими учеными и охотно предоставит мне возможность поработать в его отделе. Трудность заключается в том, что я не только не буду ничего получать за свою работу, но придется, по правилу для всех иностранцев, работающих в Институте, платить самой, и немало, за научное руководство, рабочее место, приборы, препараты, услуги мастеров. Профессор Поляни по моему лицу понял, что нам, советским, такая роскошь не по карману, не то что богатым американцам или японцам. Он обещал договориться с администрацией о льготных условиях для меня.

Когда я снова пришла, он сообщил, что полностью избавить меня от платы не удалось, но он лично отказался от вознаграждения за руководство, за место в лаборатории платить тоже не придется. И все-таки оставалась порядочная сумма. Мы с Сеней решили ее выкритить, отказавшись от дорогой квартиры в фешенебельном районе Берлина. Не терять же исключительный шанс поработать в лучшем научном учреждении Европы!

В Институте физической химии и электрохимии работали три мировые знаменитости: нобелевский лауреат профессор Фриц Габер, избранный, кстати, почетным членом Академии наук СССР в 1932 году; профессор Фрейндлих, автор знаменитой книги «Капиллярхеми», переведенной на все языки культурных стран мира, и самый молодой из директоров института профессор Михаэль Поляни, в тесном общении с которым я проработала целый год. Получив медицинское образование в Венгрии, он перед самой мировой войной переехал в Германию, был военным врачом. После войны отправился в экспедицию, изучавшую физику и химию океана. Попав в состав экспедиции врачом, он вернулся физикохимиком. Человек талантливый, увлекающийся, он после прихода к власти Гитлера покинул Германию и, имея уже мировое имя, успев сделать основополагающие работы в области физикохимии поверхностных явлений, снова резко изменил направление своих научных исследований — занялся мировой экономикой. Работы его в этой области тоже получили признание.

Все семнадцать институтов этого большого научного центра находились в живописном районе Берлина Далеме, здесь же были разбросаны виллы, где жили ведущие ученые. Сами институты — небольшие, большей частью двухэтажные здания, при каждом саду уж виллы были просто загляденье — ни одна не похожа на остальные, а сады вокруг них один живописнее другого. Улицы носили имена классиков науки — Фарадея, Эдисона, Коперника и других великих.

Сотрудников в далемских институтах было на удивление мало. Кладовщик, библиотекарь, кассир — в одном лице. В отделе Поляни работал одноногий лаборант, он же стеклодув, электрик, механик. У нас было всего девять научных сотрудников, три небольших кабинета. А во всех трех отделах института — человек сорок.

Когда я, вернувшись в Москву, рассказала Фрумкину об этом, он слушал меня с нескрываемым интересом: за границу Александра Наумовича не выпускали. В Карповском же институте числились 350 сотрудников, но фактически работали тоже не более 40, остальные им только мешали. Так он считал, полагаю, не без оснований.

Я проработала у Поляни до самого нашего отъезда в августе 33-го года. Плодом этой работы была статья, опубликованная в Германии в ведущем специальном журнале. Ее авторами были Поляни, Жуковская, немецкий физхимик Хеллер и японец Кадама.

В Далеме был клуб и спортивный комплекс при нем. Назывался он «Харнакхауз». Чего только там не было! Большой, прекрасно оборудованный актовый зал, библиотека, бильярдные столы, кинозал, ресторан, танцевальная школа и зал, теннисные корты... Там проводились конференции. Там же я однажды слышала доклад Макса Планка. Конечно, я ничего не поняла, но ведь не каждому довелось увидеть великого ученого!

Приезжал к нам Вильгельм Оствальд, почтенный старик, иностранный член Петербургской Академии наук, лауреат Нобелевской премии. Это был последний год его жизни. В сопровождении Габера и Поляни он заходил и в нашу рабочую комнату. Как приятно было пожать руку самому Оствальду!

Работать с Поляни было большим удовольствием. Он не сидел в своем маленьком кабинете, а все время вертелся в лабораториях своих сотрудников, помогал, когда возникали трудности, поражал фонтаном идей и эрудицией. Но часто, когда он был срочно нужен кому-то, его находили в «Харнакхаузе» в школе танцев, на теннисном корте или в баре. Никакой солидности! Да ведь ему и было-то всего 42 года тогда.

Как я уже говорила, чтобы оплатить мою работу у Поляни, нам пришлось съехать с дорогой квартиры в доме торгпредства.

Снять квартиру было нетрудно. На окнах квартир, предназначенных к сдаче, были наклеены бумажки крест накрест. Как-то в воскресенье мы отправились искать жилье вблизи Далема. Зашли в один небольшой дом с наклейками на окнах. Когда мы осмотрели квартиру и узнали цену, то на вопрос хозяина доктора Отто, нравится ли нам квартира, мы любезно ответили, что нравится, и, если мы остановим на ней свой выбор, непременно вернемся к нему. На всякий случай он попросил оставить наш адрес.

Мы сняли другую квартиру, более подходящую. Собрались уже переезжать — и вдруг получаем официальное письмо из юридического бюро от адвоката доктора Отто с иском на крупную сумму. Мы якобы дали обещание хозяину поселиться у него, и он отказывал всем другим возможным жильцам, отчего понес большие убытки. Все его материальные потери были в письме перечислены и суммированы; нам во избежание судебного процесса предлагалось в короткий срок выплатить господину Отто указанную сумму.

Было ясно, что расчет был на то, что мы не захотим доводить дело до суда, тем более что немецкий суд будет всегда на стороне немца, особенно если он предъявляет иск гражданину СССР.

Сеня только рассмеялся, прочитав бумагу. Господин Отто не ведал, что имеет дело с гражданами СССР, неподсудными суду Германии. Так что доктор остался с носом, да еще заплатил адвокату за услуги.

На самом краю Далема за последними виллами была маленькая улочка — Иннэштрассе. Там в двухэтажном доме находилась наша новая скромная квартира. Домовладелица, старая вдова, свои, очевидно, немалые средства вкладывала в грандиозный аквариум на первом этаже. Был специальный человек, который обслуживал сложную автоматику: термостаты, каскады, подсветка. Агенты поставляли пополнение обитателям аквариума. Сама хозяйка даже побывала в Японии, где познакомилась с знаменитыми коллекционерами и приобрела редких экзотических рыбок. Она очень любила показывать нам и нашим гостям свой аквариум. Все восхищались, и это доставляло ей большое удовольствие.

Сейчас Далем отошел к Западному Берлину.

Гитлер поднимал голову, готовился фашистский переворот, это чувствовалось во всем. В январе 33-го года должны были состояться выборы рейхсканцлера. Восьми-

десятишестилетний Пауль фон Гинденбург терял свои шансы быть избранным, Гитлер завоевывал умы. Мы часто слышали по радио его демагогические речи с истерическими выкриками. Видеть его не приходилось, хотя он часто выступал перед толпами людей на аэродроме «Темпельгоф». Советским сотрудникам и их семьям было строжайше запрещено посещать эти сборища во избежание каких-либо провокаций.

30 января Гитлер был избран рейхсканцлером Германии, Гинденбург фактически уступил ему власть. Темные силы распоясались. По городу маршировали группы СС и гитлерюгенда. Распевали свои песни, выкрикивали лозунги. Начался погром. Громили и грабили еврейские магазины и предприятия. На больших витринах универмагов, принадлежавших евреям, черным дегтем малевали горбоносые профили и свастики. То же самое — на окнах и дверях домов, где жили известные в городе банкиры, адвокаты, писатели, ученые. Всюду антисемитские лозунги.

Ох уж эта немецкая любовь к порядку! Как только погром кончился, на улицы вышли чистильщики. Смывали, стирали лозунги и рисунки, восстанавливали в городе чистоту и порядок. Началось повальное бегство из Германии не только евреев, но и всех, кому был ненавистен гитлеровский режим.

Мы мечтали уехать как можно скорей домой; все, что мы слышали и видели вокруг, было омерзительно. И было ясно, что скоро нас отзовут. Но когда? Скорей бы!

Проблема, о существовании которой раньше никто и не думал, неожиданно встала перед Институтом физической химии и электрохимии и его сотрудниками. Все три директора (так называли руководителей отделов) оказались еврейского происхождения. Габер был крещеный еврей. За большие заслуги перед кайзером, за научные работы, имевшие огромное значение в первой мировой войне, он получил звание тайного советника. Поляни участвовал в первой мировой войне как врач, а Гитлер давал льготы тем, кто сражался на стороне Германии. Так что и Поляни и Габер могли продолжать работать. Но этой привилегией они не воспользовались, хотя первым из трех директоров уехал все-таки Фрейдлих.

С Поляни получилось так: у меня было письмо от Фрумкина; Александр Наумович писал, что, если встанет вопрос об отъезде Поляни из Германии, мне поручается вполне официально вести с ним переговоры о переезде с семьей в Москву, где ему будут созданы все условия для плодотворной научной работы.

Я сказала Поляни, что хотела бы пого-

ворить с ним о переезде в Россию. Он ответил, что такая беседа в стенах института небезопасна и пригласил меня с мужем и дочерью на воскресный обед к себе.

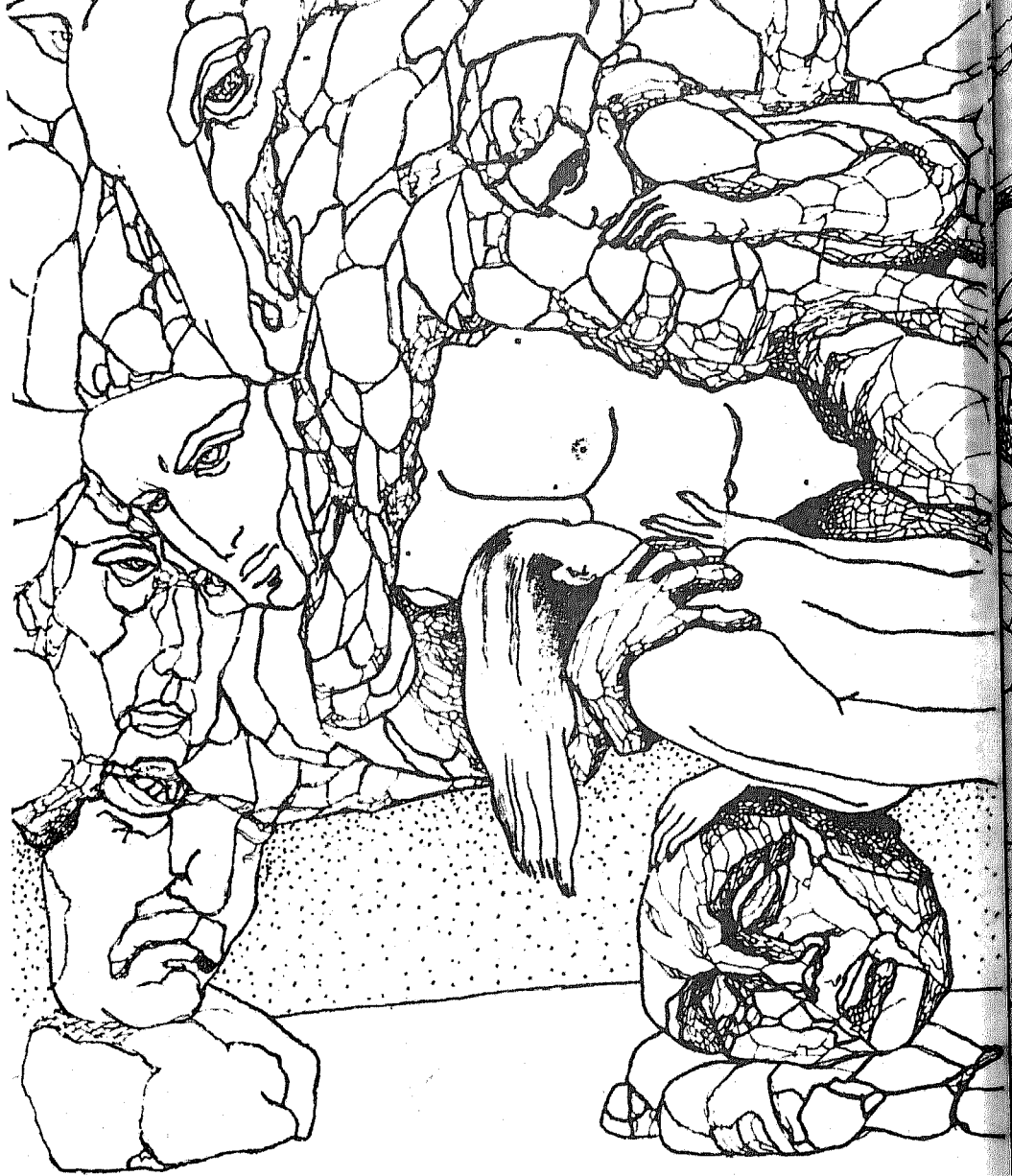
Нас хорошо приняли, очень вкусно накормили. Маленькой Наташей занялись мальчишки — сыновья Поляни, а мы за чашкой кофе перешли к главному вопросу. Вот что ответил Поляни на наше предложение. Он высоко ценит советских ученых, но, посоветовавшись с фрау Поляни, не может принять столь лестное для него предложение по трем причинам. Во-первых, там ему будет недоставать комфорта и привычных условий для научной работы, во-вторых, ему необходим теннисный корт и он сомневается, что его получит, и, в-третьих, он опасается, что его насильно запишут в коммунисты. Поляни доверительно сообщил нам, что собирается в Манчестер и ведет об этом переговоры с английскими научными учреждениями. Крыть, как говорится, было нечем.

Тем не менее добрые отношения сохранились у нас до конца августа 33-го года, когда мы смогли наконец покинуть Германию. На память о нашей совместной работе решили сфотографироваться всем отделом.

У профессора Габера все обстояло сложнее. В то время ему было уже 64 года — возраст, когда трудно думать о переезде в другую страну, тяжело менять привычную обстановку и окружение. Он все тянул и тянул с отъездом. Дошло до того, что стали поговаривать о его терпимости к фашизму, кое-кто перестал подавать ему руку. Он решил все-таки уехать и поселиться в Швейцарии. Через год Габер покончил жизнь самоубийством.

Грустным было наше расставание с няней нашей Наташи фройляйн Кларой Михаэль. Она проработала в русских семьях десять лет, считая, что это и приятнее (меньше придинок) и выгоднее (русские не мелочны). Кто-то ей сказал, что в России можно легко выйти замуж даже за инженера или врача, причем без всякого приданого. И она решила поехать с нами, жить у нас и растить Тати до тех пор, когда она, Клара, встретит своего избранника. Бедняга не могла себе представить, что мы-то сами не знали, где будем жить, что поселиться в Москве далеко не просто, а уж для иностранца и подавно. Объяснить ей это было невозможно. Мы были очень обязаны Кларе за все, что она сделала для нашей дочки, за любовь к ней и ласку, но взять ее с собой не могли. Сделали ей хороший подарок и нежно попрощались.

Так закончилась наша жизнь в Германии.



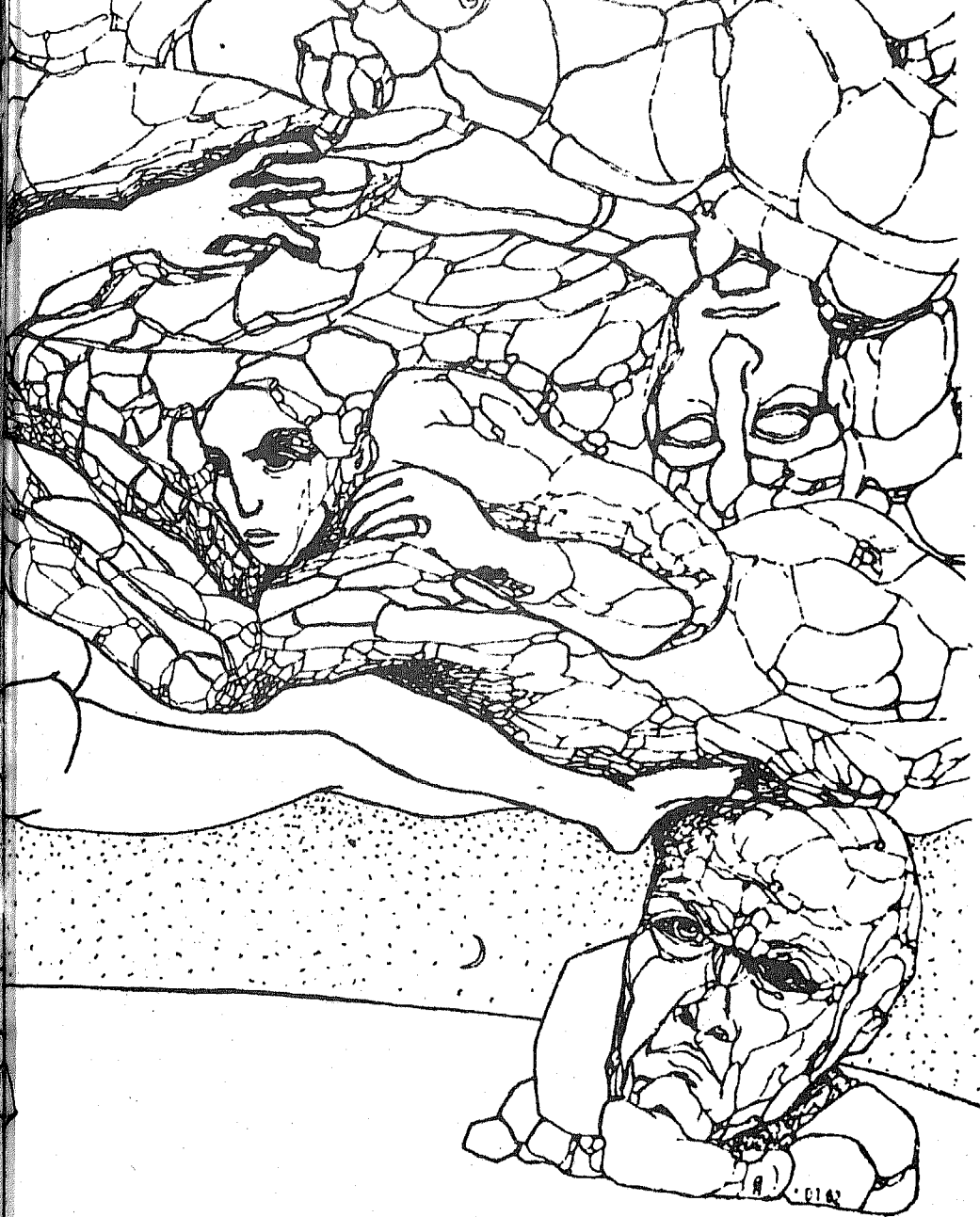
Страницы истории

Как это было

Е. Г. ЖУКОВСКАЯ

Окончание. Начало — в № 6.

Привезли нас в Котлас. Построили и повели по ночному городу под конвоем и с собаками. Вели несколько километров до Котласской пересылки. Там не было ни тюрьмы, ни бараков, только огражденная зона: палатки военного образца с наскоро сколоченными нарами. Местами брезент был продран, и через дыры проникал холодный мартовский воздух. В центре палатки — железная печка типа



«буржуйки». Дневальная подбрасывает в печку брикеты, старается ее раскалить до красного каления. Запах горелого хлеба.

Кормили куда хуже, чем в Бутырках: горячая пища раз в день, хлеб мокрый, кислый — с голоду не умрешь, но жить можно едва-едва. Днем нас выводили на работу. Нас, несколько молодых женщин, отправили мыть барак, единственный на Котласской пересылке,

предназначенный для «отрицаловки». Там белили потолок и стены — пол и трехэтажные нары были залиты известкой.

Тех, кто покрепче, заставили мыть самые верхние нары, третий этаж. И вот мы, голодные, замерзшие, месяцами валявшиеся по тюремным койкам и нарам, физически предельно ослабленные, должны были со двора таскать из котла ведра с горячей водой и

с ними лезть под потолок. Все скользкое, мокрое. Я сорвалась, полетела вниз и грудью ударилась о нары. Сильно ушиблась, что в дальнейшем, конечно, не прошло без последствий.

Через несколько дней нас взяли на этап. Направили в Севжелдорлаг на строительство железной дороги Котлас — Воркута. Там, на земляных работах, без всякой механизации, гибли и молодые мужчины. Нас же, восьмерых женщин, не знавших физического труда, гнали туда на верную погибель. Я еще была в этой группе самая тренированная — отец заботился, чтобы с детства приучить меня к спорту, закалить. И как мне все это пригодилось в те страшные годы...

Нас выгрузили на сорок седьмом километре от Котласа, где в Вычегду втекает Виледь и где расположен поселок Коряжма. Заключенные строили железнодорожный мост через Виледь и прокладывали пути. В лагерном пункте, который стыдливо назывался «командировка», было главным образом мужское население. Мужчин содержали в бараках, а нас вместе с уголовницами, урками — в какой-то хибарке с двойными нарами.

Урки были заняты в зоне на хлебозерке, на кухне, в прачечной, конторе. Они еще промышляли проституцией, обслуживая ВОХР. Когда мы укладывались на ночь на нары, они делились между собой впечатлениями об этом промысле, не стесняясь в выражениях. Мы сидели на полугодном пайке, а они жили в достатке. Однажды одна такая «барышня» поздно вернулась с промысла и принесла два десятка яиц, разбудила двух своих подруг, они поставили на печку, которую дневальная топила и ночью, таз и приготовили из двадцати яиц яичницу, которую втроем и съели.

А куда годились мы? Среди нас была молодая прелестная женщина Циля Дагина, жена расстрелянного генерала Дагина, одного из начальников охраны Кремля. Была с нами жена адмирала из Ленинграда (фамилия ее уже не помню), в бане мы видели ее исполосованную рубцами спину — память от следствия. Остальные тоже были женами партийных и хозяйственных руководителей.

Нам выдали из каптерки ватные штаны, телогрейки и бушлаты, ватные же бахилы и к ним галоши из старых шин.

Мы занимались ошкуркой шпал: на лесоповале бревна распиливали на куски по длине шпалы, нам нужно было сдирать с них кору. Тяжелые бревна с трудом громоздили на козлы, мы садились на концы бревна верхом и ножами с двумя ручками по бокам сдирали кору, двигая нож на себя. Если бы не безотказный и горячо нам сочувствующий молодой смуглый бригадир по

прозвищу Али-Баба, мы ни за что не справились бы с этой каторжной работой.

В лесу лесорубы зажигали костры; март в Архангельской области очень холодный, без костров и сутки не выдержишь. Рабочий день длился до темноты. Один раз за смену привозили горячую баланду, а хлеб мы держали за пазухой, чтобы не замерз. Работали без выходов. В лес и обратно в зону нас гнали под конвоем.

Лагерных пунктов по всему северу было столько, что из-за одних вышек были видны силуэты других. В какую сторону ни глянешь, всюду вышки. В эти гиблые места на каторжные работы, на смерть везли эшелоны рабов со всей громадной страны.

От непосильного труда, холода и недоедания первой в нашей бригаде погибла Циля Дагина. Она заболела воспалением легких, ее забрали в тюремную больницу, там она и умерла. Еще одна из наших лежала на нарах с регулярными приступами малярии. Лагерному начальству, видимо, стало ясно, что проку от нас в лесу немного.

И вот однажды нас, теперь уже шестерых, построили. Явилось начальство с нашими формулярами, стали выяснять, какие должности мы занимали на воле. Мы были перепуганы ужасно, подозревая, что они выбирают нас вовсе не на работу. Называли по очереди фамилии, и каждая должна была назвать свою специальность: медицинская сестра, машинистка. Дошла очередь и до меня. Кому здесь потребуется научный работник? И тут неожиданно один из мужчин среди начальников заявил, что берет меня к себе.

Ужас охватил меня. Но что делать? И я пошла за «хозяином». Как только мы остались одни, «хозяин» внимательно посмотрел на меня и сказал: «Лена, не пугайтесь. Вы меня, наверное, просто не узнали. Я такой же заключенный, как и вы, только с пятнадцатилетним сроком. В вашей студенческой компании был ваш сокурсник Аркадий Якубович, я его старший брат Павел. Вы бывали у нас дома, и я узнал вас сразу, как только увидел». Павел побывал на общих работах (так в наших лагерях именуются каторжные работы) и, став немощным доходягой, попал в нарядчики. Живет он в конторе, там есть кабинка, где могу разместиться я, его новая помощница. В общем, в этой страшной лотерее я выиграла выигранный билет...

Верно говорится, что и в несчастье можно быть счастливой. Павел был предельно добр и внимателен ко мне. Опытный лагерник, он был хорошо знаком с приличными людьми из числа вольных — были здесь инженеры-мостовики, строители железных дорог. Его подкармливали, а он кое-что приносит и

мне. У нас были газеты, мы знали, что творится в Москве и в мире. Разрешалось писать домой один раз в месяц, а через друзей Павла можно было иной раз переслать письмо, минуя лагерную цензуру. В этом аду, где люди были обречены на гибель, я оказалась в безопасности. Надолго ли?

Когда отец получил мое первое письмо из Севжелдорлага и представил себе, что будет со мной, если я останусь на строительстве железной дороги, он решил на, казалось бы, безнадежное дело — любимыми средствами извлечь меня оттуда и добиться перевода на работу по специальности, в какую-нибудь «шарашку», где нужны химики, инженеры, научные работники.

Кому он адресовал свое послание, я, так и не узнала. Написав его, он стал собирать подписи знатных людей. Первым подписал Александр Серафимович. (Отец в то время был редактором собрания его сочинений и был с ним в дружеских отношениях.) Затем он обратился к академику А. Н. Баху, директору института им. Л. Я. Карпова, к академику А. Н. Фрумкину и моему непосредственному руководителю М. М. Дубинину, генералу, профессору Академии химической защиты.

В то время нужна была большая смелость, чтобы возбуждать такие ходатайства. Тем не менее оно было подписано и отослано.

Отец написал мне о своих хлопотах. Но я не сомневалась, что это ни к чему не приведет.

Как всегда внезапно, вызывают меня с вещами на этап. Я в страшной тревоге. Здесь, в Коряжме, я как-то существую под защитой Павла Якубовича. Но есть и проблеск надежды, что этап имеет какую-то связь с ходатайством отца: отправляли по спецнаряду двоих — меня и инженера-химика Финкельштейна.

И вот я вместе с доходягой Финкельштейном и конвоиром, молодым сибиряком Андреем, отправилась куда-то на север. На дороге нам выдали сухой паек: хлеб, соленую рыбу, сахар из расчета тюремной нормы. Дело было летом, путь был долг и труден. По пути были лагерные пункты, где нам давали горячую пищу, и, как везде на севере, в обязательном порядке кружку хвойного настоя от цинги. Чаще всего шли пешком, но бывало, удавалось сесть на попутный грузовик или телегу. Как-то взяли нас на парход и поместили в трюм, в котором везли куда-то заключенных «мамок» с младенцами.

У Андрея была подробная путевая карта. Ночевали мы то в лагере, то в лесу. Я с трудом волокла свой узел с вещами. Очень

страдали от гноса, были искусаны и покрыты расчесами. Жгли костры, спасаясь дымом, были у нас и накомарники. Без них мы бы не дошли. В лесу еще не было ни ягод, ни грибов. Воду кипятили в котелке.

Финкельштейн не выдержал мучительной дороги и заболел — не мог идти дальше. Пришлось Андрею сдать его на ближайшем лагпункте. Отправились дальше вдвоем.

Андрей, славный крестьянский паренек, относился ко мне уважительно. Одна слабость была у него: любил выпить. Как на пути замаячит где-то поселок, мой Андрей отправлялся в обитаемое место в надежде пожить, а меня оставлял в лесу, чаще всего на берегу речушки или ручья, клал возле меня свою винтовку, мой формуляр в ящичке, шинель, фуражку и, оставаясь в рубашке, штанах и сапогах, как частное лицо шел на поиски спиртного. Я ему говорила: «Андрей, а ведь я от тебя сбегу!». «Никуда не денешься, ты не из тех, какие бегают, да и бежать тут некуда — всюду тайга дремучая и болота», — отвечал он мне.

Этап продолжался около двух месяцев. Измученные и искусанные, добрались мы до Ухты, и там я распрощалась с Андреем — он сдал меня вместе с документами.

Ухта тогда еще была не городом, а центром Ухт-Ижемлага, с несколькими лагерными пунктами, расположенными вблизи промыслов, нефтеперерабатывающим и кирпичным заводами, проектным отделом и двумя лагерными больницами: «Ветлосян» — только для заключенных и «Сангородок» — для заключенных, для вольных и детских учреждений.

К 40-му году это было уже достаточно обжитое место — заключенные жили не в палатках, а в бараках. Командовал здесь генерал Бурдаков — свирепый сатрап. Политические и урки содержались вместе. Режим в лагере был жестокий. А район богатейший: огромные залежи тяжелой парафинистой нефти, которая почти не содержала легких погонов, плюс газовые месторождения. Был там и радий в водах, велась его добыча, а с опасностью облучения никто не считался. Огромная масса бесплатной рабочей силы, в том числе и высококвалифицированной, работала в этих гиблых местах за пайку хлеба и баланду. Тяжелые, долгие зимы с морозами до минус пятидесяти пяти. Страшные авитаминозы. Жесточайшая борьба за выживание, деградация, высокая смертность.

Первое место, куда меня направили вместе с другим химиком, Фирой Пиковской, была примитивная лаборатория кирпичного завода. На ОЛП (отдельном лагерном пункте) «Кирпичный» содержались заключенные с большими сроками, и до нас там вовсе не было

женщин. Не было, естественно, и женского барака. В углу одного из мужских барачков нам выделили фанерную кабинку без окна. Туда втиснули две железные койки — для меня и Фиря. Не описать, как нам было страшно: хилая дверца из фанеры закрывалась на проволочный самодельный крючок, сорвать который ничего не стоило, а за фанерой — больше сотни мужчин. Храп, сквернословие, порой драки, — все это рядом с нами.

Положение казалось безнадежным, но вскоре выяснилось, что нас взяли под защиту и неуспешную охрану трое мужчин: ведавший нашей лабораторией инженер Палкин, Миша Ленгефер, который знал моего мужа по работе в Берлине, и замечательный украинский писатель-юморист Остап Вишня, он же Павел Михайлович Губенко.

Павел Михайлович, ровесник моего отца, отбывал двадцатилетний срок, который получил как украинский националист, он проходил по знаменитому процессу Скрыпника еще в 33-м году. Он был многоопытный «зека». В первую мировую войну он, человек мирный, не желавший никого убивать, поступил (как и мой отец в то время) на ускоренные фельдшерские курсы. Но на фронт Павел Михайлович не попал. Теперь же, попав в лагерь, он быстро понял, что юмористы здесь не нужны, и назвался фельдшером. Его медицинское образование двадцатилетней давности было, мягко говоря, неглубоким. Да и никакими лекарствами, кроме иода и марганцовки, он не располагал. Вата еще была, но упаковочная — грубая, серая. В общем, когда случалось что-то серьезное — высокая температура, скажем, или кровавый понос — Павел Михайлович не рисковал и отправлял больного в лагерьную больницу на Ветлосян. Главная же задача состояла в том, чтобы утешать людей, давать освобождение от тяжелых работ в мерзлом глиняном забое. Он был необыкновенно добр и к тому же наделен блестящим остроумием.

Никогда не забуду, как однажды Павел Михайлович принес нам в алюминиевой миске спелые красные помидоры.

— Разве тут растут помидоры? — изумилась я.

— Для вас тут все растет, — тихо ответил Павел Михайлович.

Вскоре я очутилась в больнице на Ветлосяне.

Как-то раз я заметила на сорочке на груди пятна крови. Я решила, что это последствия ушиба, который я получила в Котлазе, сорвавшись с верхних нар. Павел Михайлович предложил отправить меня на Ветлосян к медицинским светилам — там действительно были профессора и врачи со всего Советского Союза.

Оформлен наряд, вызван конвой, я — в больницу. Персонал сверху донизу из заключенных. Уход за больными, внимание, квалификация персонала, все это на высоте, которой могли бы позавидовать наши нынешние московские больницы. Конечно, не было необходимого оборудования, медикаментов, ужасное питание, но зато сколько внимания и заботы о каждом.

Собрали консилиум во главе с профессором Вильгельмом Владимировичем Виттенбергом. Профессор решительно восстал против операции, которую предлагали хирурги, и забрал меня в свое отделение. Он отнесся ко мне по-отечески тепло, решил поддержать какое-то время, чтобы я отдохнула от лагерной обстановки, и поместил меня рядом с женой известного в партии деятеля Адольфа Абрамовича Иоффе, близкого в свое время к Ленину, дипломата, представлявшего нашу страну в Германии, Китае, Австрии, затем в 25-м году возглавившего «новую оппозицию».

С Марией Михайловной Иоффе было о чем поговорить. В лагере на нее стреляли гнусный донос, чтобы уечь в воркутинский лагерь строгого режима. Врачи взялись за ее спасение. Доктор Каминский поставил диагноз «костный туберкулез» и объявил Марию Михайловну лежачей больной, с риском для собственной жизни спасая ее от этапа.

Когда я поступила в ветлосянскую больницу, приемщиком в каптерке работал седой, опустившийся старик. Увидев на документах мою фамилию, он поднял на меня глаза и, узнав меня, заплакал. Я же его не узнала. А это был Александр Иванович Тодорский — крупный военачальник, генерал-лейтенант, бывший начальником Военно-воздушной академии. В сороковом году ему было всего 46 лет. С моим мужем они были знакомы еще с гражданской войны, встречались и в тридцатые годы. Замечу, что Александр Иванович выжил, и после освобождения и реабилитации в 55-м году мы снова встретились в Москве, да еще получили квартиры в одном доме на Второй Хорошевецкой улице.

Высококвалифицированные врачи Ветлосяна периодически созывали медицинские конференции. Люди науки, они и в заключении старались делиться интересными наблюдениями за течением болезней в специфических лагерных условиях. Физиология человека в экстремальных условиях тюрем и лагерей отличается от физиологии в обычной жизни. И медицина требовалась для этих условий особая.

Однажды во время моего пребывания на Ветлосяне состоялась конференция, посвященная совершенно особому случаю. На одном из ОЛП работал в медпункте молодой

врач-заключенный Берман. Во время приема один урка потребовал освобождения от работы. У врачей была жесткая норма на освобождения. Доктор отказался выполнить требование абсолютно здорового уголовника. Через несколько минут урка ворвался в медпункт с топором и раскроил врачу череп. В аптечке оказалась банка с белым стрептоцидом. Фельдшер схватил и все содержимое, около десяти граммов порошка, высыпал в открытую рану. Доктора Бермана привезли на Ветлосян, и врачи занялись его спасением. Он выжил, но остался частично парализованным, потерял речь. Но врачи не теряли надежды и продолжали упорно лечить несчастного. Методам его лечения посвятили очередную конференцию. Обсуждался и этический вопрос: правильно ли спасать жизнь зеку, если он останется беспомощным калекой.

Зимой сорок первого прибыл этап из Польши. Часть поляков поместили в нашем небольшом ОЛП. Работа — копать мерзлую глину в карьере — оказалась для них непосильной. Измученные, голодные, не приспособленные к физическому труду, они гибли. Народ среди них был самый разный. Особенно жалким и несчастным казался мне раввин из маленького польского городка. Он умер на руках Павла Михайловича. Незадолго до смерти он подозвал меня и отдал мне лежащий рядом с ним на нарах талес — ритуальный шарф, в котором евреи молятся.

Я хранила его как память о безвинной жертве, но в очередной обыск вохровцы у меня его стащили. Для того и обыски в лагере...

Привезли к нам с финского фронта несколько мальчиков — ленинградских студентов. Это тоже была малая часть большого этапа. Одни попали на войну по мобилизации, другие добровольцами. Зима выдалась лютая. Плохо экипированные и плохо подготовленные, они обмороженными попадали в окружение, а затем в плен. Их обменяли на финских пленных. Сразу после обмена ребят, вместо того, чтобы отправить в больницы, прямым сообщением погнали в лагерь. До лагерей добрались из них лишь немногие — легко обмороженные, остальные же в мучениях погибли от гангрены. Павел Михайлович как мог, как умел облегчал страдания всех этих людей.

Вечерами мы выходили с Павлом Михайловичем из барака, чтобы вдохнуть свежего воздуха, посмотреть на звездное небо, полюбоваться сполохами северного сияния. Как-то, шагая рядом со мной, Павел Михайлович сказал: «Вы знаете, здесь для меня есть свое счастье. На воле, в Киеве я был редактором журнала «Перец» и должен был

восхвалять мудрого вождя всех народов и превозносить существующие порядки, печатать глупые и пошлые, но угодные власти имущим карикатуры. Теперь я свободен хотя бы от этого. Больше никогда восхвалять уже не буду».

Он ошибся. Восхвалять ему еще пришлось.

Я начала получать письма от мамы. Он ободрял меня, верил (или пытался меня утешить), что дела матерей будут пересмотрены, и женщины вернутся домой к своим детям, писал, что по его сведениям, Сеня осужден на десять лет без права переписки и поэтому узнать, где он, никак нельзя. Одно письмо кончилось так: «Как тигрица, борись за свою жизнь».

Весной 41-го года меня забрали с «Кирпичного» и перевели на 1-й ОЛП в женский барак. На работу была назначена контрольную лабораторию нефтепереработного завода. Это уже совсем другой уровень, чем на кирпичном. Впрочем, работа оказалась малоинтересной: рутинные анализы нефтепродуктов. Но она считалась вредной, и нам — зекам и вольнонаемным специалистам и рабочим — даже выдавали ежедневно поллитра молока.

Завод находился в нескольких километрах от ОЛП. Заключенных туда отправляли под конвоем. За работу нам, итэзровцам, положено было получать одну пачку махорки в месяц и почему-то 37 копеек деньгами. Нам говорили, что столько остается от расходов на наше содержание. А махорка в лагере была валютой — в обмен на нее иной раз можно было получить что-нибудь очень нужное.

Перевод был совершенно внезапным, и я даже не смогла попрощаться с товарищами, которые так много сделали для меня, — с Павлом Михайловичем и Мишей Ленгерфером.

И вот подошел июнь сорок первого, разразилась война. Для нас это прежде всего обернулось ужесточением режима, прекращением переписки с волей. Никакой официальной информации, только страшные слухи и домыслы. Я не в силах передать тот ужас, который владел нами, когда вольные на заводе рассказывали, как отступает наша армия под натиском немцев. В первые ночи после начала войны с нар стаскивали женщин, осужденных ОСО с формулировкой КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) и уводили. Куда?

Так мы жили до тех пор, когда наши войска начали наступать. Летом 43-го года вновь разрешили писать письма, получать письма и посылки. В лагере свирепствовала дистрофия, высокая смертность стала еще выше. Мы испытывали непроходящее чувство

голода. Мерзли в бараках зимой, на ночь валили на себя бушлаты и телогрейки, боялись пошевелиться. Спали в шапках, и нередко бывало, что они примерзали к покрытой инеем стенке. А шапки нам служили буденовки, списанные в утиль, вылинявшие, со следами сорванных пятиконечных звезд. Надо было видеть нас — не похожих не только на женщин, но и вообще ни на кого не похожих.

Я была счастлива, когда после двухлетнего перерыва получила первое письмо с воли от папы и узнала, что все мои живы, вернулись после всех мытарств эвакуации в свой дом. Дети с осени пошли в школу.

Едва возобновилась переписка, как Миша Ленгефер вдруг получил письмо от Павла Михайловича из Киева и ухитрился переправить мне его на НПЗ. Какое чудо произошло с нашим Остапом? Почему письмо из Киева, как он оказался на воле со своим двадцатилетним сроком? Случилось же вот что.

Когда начались переговоры об открытии второго фронта, на западе раздались голоса протеста против сталинских репрессий. В одной из центральных газет Канады было опубликовано гневное письмо украинских эмигрантов: ни в какие отношения с Россией не вступать, ни одному слову Кремля не верить. В качестве одного из аргументов авторы привели рассказ о злодействе, учиненном над Остапом Вишней — любимцем украинского народа.

Наши власти без промедления извлекли Остапа Вишню из лагеря — он как раз лежал в то время с тяжелым приступом язвы двенадцатиперстной кишки — и срочно отправили в Киев. Постарались в экстренном порядке привести его в приличный вид и усадили в редакторское кресло журнала «Перец». Сфотографировали его крупным планом и фотографию поместили в очередном номере журнала вместе с фельетоном самого Остапа под заголовком «Как большевики мучают Вишню».

В фельетоне Павел Михайлович отрицал все, что сочинили о нем «антисоветские клеветники», и утверждал, что, если и был в лагере, то только в пионерском, в гостях у украинских ребятишек. Впрочем, вся эта белиберда написана была блестяще, с истинным юмором Остапа Вишни.

Спасибо посрамленным «клеветникам» за чудесное спасение очень хорошего человека...

В Ухте шло строительство. Заключение ввозили будущий город. Потом, уже в Москве, на продленном киносеансе я видела фильм, который был так тщательно и так «добросовестно» снят, что просто нельзя было усомниться в его правдивости. Назы-

вался он «Как комсомольцы строили Ухту». Вот уж действительно «туфта».

На самом деле было так.

Один из прорабов строительства Коля Вершинин учился на строительном факультете МВТУ, когда я была студенткой химфака. Мы были знакомы. Красивый юноша, заядлый танцор. Наши девушки с удовольствием танцевали с ним на студенческих вечерах.

И вот я увидела его на 1-м ОЛП. Его едва можно было узнать. Погасшие глаза, высохшие руки, безжизненно повисшие вдоль тела. Во время допросов его пытали на дыбе, заставляя сознаться в несовершеннолетних им преступлениях. Он показал, что с группой таких же преступников взорвал мост на какой-то реке. Конечно же, не было никакой реки, никакого моста. За диверсию Вершинин получил 15 лет. Его сыновья-близнецы из десятого класса ушли добровольцами на фронт и оба погибли. Дети отдали жизнь за родину, а отец — седой, с выкрученными на дыбе руками — отбывает срок как диверсант.

Были в лагере «отказчики» на религиозной почве. Они твердо держались своих принципов, отказывались работать в церковные праздники, соблюдали посты. Это были настоящие мученики веры, многие из них умирали от истощения. Их не брали в больницу, и они валялись в бараках на нарах. Заключение сочувствовали им, старались поддерживать. Но чем могли помочь они, сами голодные, истощенные?

Умерших голыми складывали на телегу, вывозили в тайгу и там сбрасывали, даже не закапывая.

По северным лагерям было рассеяно много актеров. В нашем бараке жили две балерины. Одна из них, Нора Радунская, красивая молодая женщина, получила срок по бытовой статье. По доносу ее обвинили в том, что она якобы купила что-то у иностранной актрисы, приехавшей на гастроли в Москву, да еще заходила к ней в гостиницу.

Вина другой балерины, совсем девочки, Наташи Пушиной состояла в том, что она была дочерью сотрудника КВЖД в Харбине. Как правило, вернувшихся из Харбина в СССР брали целыми семьями. Наташа получила по ОСО 8 лет (ППШ — подозрение в шпионаже). Срок отбывала и певица Сара Кравец, довольно популярная в Москве в предвоенные годы. На нее донесли, что за столом в гостях она пообещала вырвать легкие у Берии.

Были здесь и другие деятели культуры, в том числе и очень известные: актер Михаил Названов, музыкант Борис Крейн. Актеры, певцы, музыканты жили в лагере

немногим лучше остальных, хотя и имели некоторые привилегии. Но какие прекрасные концерты и спектакли они устраивали! Жизнь продолжалась даже на ОЛП.

Жизнь продолжалась, люди встречались, находили друг друга, любили друг друга. Однако любовные связи жесточайшим образом пресекались. Когда такое обнаруживалось, либо его, либо ее отсылали в этап, часто на штрафной лагпункт. Но никакие карательные меры людей не могли остановить.

Чтобы избежать этапа, женщины нередко вприскивали себе под кожу (ртом через соломинку) керосин. Удобнее всего вприскивать в грудь или в ногу выше колена. Как правило, это приводило к флегмоне, поднималась температура и удавалось избежать очередного этапа. Но бывало, что от флегмон и последующего заражения крови и погибали.

Тяжелей всего заключенные переносили долгие северные зимы. Истощенные, переутомленные, ослабленные люди страдали еще и от светового голодания. Особенно возрастала смертность в лагере ближе к весне. Это время называли там «ассенизационным», оно уносило всех слабосильных, неспособных к лагерному труду. Лагерное начальство и не помышляло об их спасении: от балласта выгоднее избавиться.

И вот в одну из таких зим, в первую зиму войны, со мной в столовой, когда я сидела над миской горячей баланды, случился глубокий обморок. Меня отнесли в медпункт, где врач, как потом мне рассказывали, тщетно пытался привести меня в чувство какими-то уколами. В обморочном состоянии я очутилась на Ветлосяне. Тамашние врачи констатировали летаргический сон, только через двое с половиной суток ко мне вернулось сознание.

Однажды произошло событие, которое вызвало интерес всех обитателей ОЛП. Специальным этапом к нам был доставлен красивый грузин средних лет, одетый в зеленую шелковую телогрейку. Видно было, что он на особом положении — его поместили не в барак, а в отдельную кабинку при мужском бараке. Все были заинтригованы, пошли разные слухи.

Оказалось, что это родной брат первой жены Сталина Александр Сванидзе (партийная кличка Алеша) — крупный государственный деятель, член партии с 1903 года, представитель СССР в Лиге Наций, ученый-ориенталист.

Должно быть, лагерные власти немного побаивались одного из членов семьи Сталина: вдруг курс изменится — тогда и спро-

сят, как осмелились смешать такого человека с серой массой заключенных. Так что на общие работы Сванидзе не посылали. Он назвался финансистом (очевидно, имея в виду свою работу в Госбанке СССР), а раз финансист — то в финчасть ОЛП, работа в зоне. Но тут возникло непреодолимое препятствие: оказалось, что этот финансист государственного масштаба не умеет считать не только на арифмометре, но даже и на счетах. Тогда его сделали помощником каптера. Такую большую должность исполнил профессор Сванидзе в Ухт-Ижемлаге.

Единственный человек, с которым он общался в ОЛП, была я. Когда он узнал, что в женском бараке находится жена Семена Борисовича Жуковского, он пришел познакомиться со мной, чем поразил обитателей барака. Он рассказал мне, когда и где встречался с моим мужем, не стал скрывать, что его уже нет в живых, ибо формула «10 лет без права переписки» могла означать только одно. Дружба с Алешей Сванидзе немало подняла меня в глазах начальства и моих соседей по бараку.

Потом я встретила с ним уже в больнице на Ветлосяне. Летом 42-го года разразилась эпидемия дизентерии. Заболела и я, в тяжелом состоянии попала в инфекционный отделение. Шансы на выздоровление были невелики: из отделения без конца выносили накрытых рогожей умерших.

Когда наконец я, едва живая, встала на ноги и узнала, что здесь был на излечении Алеша Сванидзе и оставлен на Ветлосяне на работе, я очень удивилась. Что он может делать в больнице? Оказалось, что он работает сторожем зоны пеллагриков. Я отправилась поглядеть его.

Как я была удивлена, когда, зайдя в сторожку, увидела там, кроме Алеши Сванидзе, еще одного хорошего знакомого — профессора Винавера, вместе с которым в Севжелдорлаге мы в женской бригаде ошкуривали железнодорожные шпалы. Он был вторым сторожем, сменщиком.

Два этих замечательных человека так подошли друг другу, что, увлекшись беседой, порой забывали сдавать дежурство и проводили много часов вместе. Мне тоже хотелось подольше побыть с ними в сторожке и послушать их.

Дальнейшая судьба Винавера мне неизвестна, а Алешу Сванидзе в том же 42-м году с Ветлосяна забрали. Его судьба стала известна после XIII съезда партии. Н. С. Хрущев поведал, что шурин Сталина, старый грузинский большевик Алеша Сванидзе расстрелян в 1942 году как фашистский шпион. Ему посулили, что высо-

кий родственник помилует его, если он, Алеша, попросит об этом. Когда Сванидзе передали слова Сталина, он спросил: «О чем мне его просить? Ведь я никакого преступления не совершал». А Сталин якобы сказал потом: «Смотри, какой гордый, умер и не попросил прощения».

День за днем шла жизнь, если это можно назвать жизнью, на ОЛП № 1. Тихий, незаметный, наголо остриженный, работавший на шахте инженер Б. О. пойман с поличным на краже хлебной пайки. Его страшно били, а он кричал: «Не убивайте меня, я голодный, я нужен стране здоровым». Полумертвого, его вытащили из барака ВОХРа. Большие его здесь не видели, куда-то перевели — тут его рано или поздно все равно прикончили бы.

Так же расправлялись и за сексотство. Если зека был замечен в связи с «кумом», он был обречен. На лесоповале на него падало дерево, или же он проваливался с тачкой в кювет, или еще что-нибудь случалось — но так, чтобы виноватых не оказывалось. Когда выявлялся среди зека бывший прокурор или следователь, казнь над ним тоже совершалась неотвратимо.

Начальника Ухт-Ижемлага генерала Бурдакова я видела всего один раз, когда нас гнали на сельхозработы. Он верхом с кнутом в руке объезжал поля — настоящий плантатор. С ним связана забавная история.

Из нашего ОЛП бежал урка-рецидивист по прозвищу Сашка-иностранец. Побег — редчайший случай, побег — ЧП. Как ему удалось убежать, неизвестно, но его не поймали. Попав на свободу, Сашка начал своеобразно мстить генералу. Каждый праздник, каждую знаменательную дату — и в женский день, и в день Парижской Коммуны, и в день рождения самого Бурдакова — из разных концов страны приходили пышные поздравительные телеграммы: «Дорогой генерал, все помню, горячо благодарю за все ваши благодеяния. Целую крепко Сашка-иностранец» или «Отмечая день моего рождения Сталинабаде, пили здоровье моего дорогого благодетеля. Сашка-иностранец», и т. д.

Телеграммы поступали в экспедицию, их там читали, их содержание доходило до всех вольных и заключенных. Сашка своими издательствами сделал из Бурдакова настоящее посмешище.

При мне было два побега. Бежал молодой украинец, учитель, скромный тихий человек Гриша. Он имел бытовую статью и пропуск за зону. Начальство и ВОХР знали Гришу как замечательного рыбака и часто брали его с собой на рыбалку. Никто не умел ло-

вить, как он, водившийся в реке Ухте царскую рыбу — хариуса. Однажды участники рыбалки по срочному делу отлучились в лагерь и оставили Гришу у реки одного, наказав ему продолжать лов и дожидаться их возвращения. Они ему доверяли — брали с собой на реку не первый год. А Гриша ушел, и настичь его не удалось, хотя все были подняты на ноги.

Третий побег был неудачным. Бежал мальчишка родом откуда-то из Средней Азии. Его вскоре поймали в болоте и привели к ОЛП. Рассказывали потом, что у ворот на разводе выстроили заключенных и у них на глазах овчарки растерзали беглеца.

Убежать и выжить было практически невозможно. Но всегда оставалась возможность бегства из жизни. Галя Щербаченко, лет тридцати, геолог по профессии, была замкнутой, со всеми вежливой, очень опрятной и аккуратной. Когда ела, непременно расстилала салфеточку с бахромой. Однажды в лесу, это было на ОЛП Войвож, на сборе грибов и ягод для начальства вдруг потеряла Галю. Поднялась суматоха, ВОХРа устроила облаву. И в тлеющем костре нашли обгоревшие останки Гали. Кто-то по ее просьбе принес бутылку керосина с нефтеперегонного завода — якобы для растирания больной ноги...

Одни не выдерживали и уходили, другие сохраняли жизнелюбие. Личный секретарь Бориса Пильняка Наташа (не помню ее отчества и фамилии) и в бараке продолжала жить своим околотитратным прошлым, забавляла нас своим пристратным к выскопарному слогу. В лагере она прославилась такой фразой: «Ах, опять эти агрокультурные экзерсисы!». Это — по поводу работы в поле.

...Жена какого-то вохровца пришла к нам 8-го марта и стала вслух читать о том, как счастлива советская женщина, как она раскрепощена, какую заботу проявляют о ней партия и правительство и как советская женщина благодарна за эту заботу о ней и ее детях. Не успела она дочитать про все это счастье, как одна из заключенных громко заплакала. В бараке началось что-то страшное — рыдания, истерики. Агитаторша выскочила как ошпаренная. Не на шутку перепуганные начальники с трудом установили тишину.

Так мы отпраздновали женский праздник.

В начале 44-го года группа заключенных чем-то отравилась. Возможно, несвежими оказались тресковые внутренности, из которых варили нашу баланду — так называемый «рыбкин суп». Боясь ответственности,

нас срочно отправили в Сангородок. Это была большая больница, в которой, конечно, отдельно содержались вольные и заключенные больные. Однако врачи, медицинские сестры, нянечки, лаборанты и санитары были заключенные. Только главврач Сангородка был вольный — доктор Эйзенбраун.

Во времени моего выздоровления я уже знала многих врачей и сестер. И даже была приглашена в кабинет доктора Николая Николаевича Красовского на празднование «нелегальной свадьбы» его с медсестрой Лорой Соловьевой.

Доктор Красовский пользовался многими привилегиями, чувствовал себя более уверенным, чем другие врачи, так как, будучи гинекологом, оказывал вольным женщинам многие услуги. Это приносило ему и материальную выгоду. На тайную свою свадьбу он пригласил несколько человек и смог их даже неплохо угостить. Был разведенный больничный спирт, очень мало хлеба и американская жирная свиная тушенка. Спирт я не пила, но от аппетитной тушенки после долгих лет недоедания отказаться было невозможно. Печень с таким угощением не справилась, и я заболела жестокой желтухой — пожелтела, позеленела. Больные, встречая меня в коридоре больницы, отводили глаза. Лекарств и диетического питания, конечно, не было. Спас меня отец, который, узнав случайно о моей болезни, прислал нужные лекарства.

Болезнь стала отступать, но я была так слаба, что о работе на заводе не могло быть речи. Меня оставили при больнице, в лаборатории.

Персонал лаборатории состоял из трех человек: заведующая Юлия Николаевна Соколова, мойщица посуды, она же уборщица, и я. Кроме нас, были животные, необходимые для анализа крови на реакцию Вассермана: морские свинки, кролик Джон, совершенно черный, и крольчиха Бэлла, белая как снег. Я довольно быстро научилась делать простые анализы крови, мочи, мокроты.

А жила я в зоне. Моей ближайшей соседкой по нарам оказалась польская коммунистка Герта Бергер. Ее сестра Труда, тоже член польской компартии, была замужем за известным в Польше коммунистом Павлом Финдером, секретарем подпольного ЦК во время гитлеровской оккупации. Немцы зверски убили его, и сейчас Павел Финдер — национальный герой Польши. Сама же Труда до самого освобождения ее страны оставалась в фашистском лагере. А ее сестра Герта — в советском.

Герта с мужем эмигрировала при Пилсудском в СССР, оба стали работать в Комин-

терне, жили, как и многие иностранцы, в гостинице «Люкс» на Тверской. Когда начались массовые аресты зарубежных коммунистов, многие из них кончали самоубийством, выбрасываясь из окон. Какое-то время гостиница «Люкс» была даже оцеплена милицией.

Муж Герты не избежал общей участи — его арестовали и расстреляли. А Герту взяли на седьмом месяце беременности, и в Бутырке она родила мальчика — Юлиана, Юлика. Со слабеньким крохой ее, еле передвигающую ноги, отправили в этап. Молока у нее не было вовсе, она цедила баланду через чулок и кормила ею младенца. Чудо: Юлик выжил, и в Ухте был определен в ясли для детей заключенных. Даже младенцев не позволялось смешивать. Маленький Юлик рос, к тому времени, когда я его узнала, ему было уже около шести лет. В детском саду для детей заключенных не было ни книжек, ни игрушек. Юлик и не ведал, что они существуют, как и другие лагерные дети, он собирал камушки, стеклышки и играл ими.

Когда мойщицу из нашей лаборатории куда-то забрали, я постаралась определить на ее место Герту, чтобы она была под моей опекой. Юлик иногда мог забежать к нам в лабораторию из детского сада, расположенного неподалеку от больницы. Наши морские свинки и кролики доставляли ему большую радость. В своем возрасте, возрасте словотворчества, он часто давал предметам удивительно точные названия: пробирки называл продырами, выключатель — выкручатедем. В самом деле, чтобы выключить или включить свет, нужно повернуть выключатель, «выкрутить» его...

Когда наши войска подошли к Варшаве, поляков увезли из лагерей. Забрали и Герту с Юликом. Папа мне потом рассказывал, что Герта пришла навестить его и детей в Москве и много рассказывала обо мне. Она была прилично одета, поместила их в гостинице и хорошо кормила, им один раз даже дали яичницу с ветчиной, Юлик растерялся — не знал, что это такое.

Когда наши вошли в Польшу, поляков, выживших в лагерях, отправили по местам их жительства. Положение в Польше было еще неопределенным, всякое могло быть, и в этой ситуации немного находилось охотников занять ответственные хозяйственные, советские и партийные должности. А люди, прошедшие немецкие и наши лагеря, шли на это. После пройденной «школы» они ничего, видно, уже не боялись и нечего было им терять.

После отъезда Герты меня, уже достаточно окрепшую, забрали по наряду из Сан-

городка в Ухту в Центральную лабораторию Ухт-Ижемлага. В последний год войны, когда одна победа наших войск следовала за другой, режим в лагере несколько смягчился, и я, всего-навсего СОЭ — социально-опасный элемент, получила возможность свободного выхода без конвоя. Рядом с лабораторией стоял сарай с окном и печкой-буржуйкой, которую в холодное время нужно было непрестанно топить. Там стояли две железные койки (все-таки не нары!), сколоченный из струганых досок стол и лавка. Туда поместили меня с художницей Надеждой Константиновной Андреевой.

Надежда Константиновна держалась со мной несколько покровительственно. В Москве она была сотрудницей академика К. И. Скрябина — выдающегося гельминтолога. У нее была редкая специальность — художник-микроскопист. На страницах альбомов, составленных академиком, она изображала паразитов в красках, и эти альбомы придавали ученым трудам особую ценность. По рассказам Андреевой, академик был безумно влюблен в нее, умолял о взаимности. Правда ли это, или относится к рассказам «на воле я была высокая блондинка», столь распространенным в тюрьмах и в лагерях, — не знаю.

В ЦЛ вместе работали вольные и заключенные. Мы не чувствовали, что они белые, а мы черные. И все же... Начальником лаборатории был, понятно, вольный — азербайджанец Рустам Векилов, молодой геолог, весьма демократичный человек. Остальные ведущие сотрудники — сплошь зеки, а подсобные — вольные. Моей лаборанткой была Мария Адамовна Яновская. Однажды она спросила, не хочу ли я вечерами помогать ей по хозяйству и, если я согласна, то на каких условиях. Я согласилась работать у нее за хлеб и мыло — убирать, стирать белье, чистить кроличьи клетки. И получалось, что днем Мария Адамовна послушно выполняла работу, которую я ей поручала, а вечером я служила у нее работницей. Причудливые переплетения лагерных отношений.

Лаборатория была расположена на холме, а внизу — сельскохозяйственные угодья. При них в сторожке жил старик, дедушка Тимофей. Мы навещали его, а он заходил к нам погреться, попить чайку и поговорить с добрыми людьми. Он рассказал нам свою историю.

Работал он обходчиком на железной дороге на малом полустанке на Дону. Как-то вызывают его на ближайшую станцию в желдоротдел НКВД. Спрашивают, знает ли он такого-то служащего — называют имя.

— Знаю его, — отвечает Тимофей.

— Бываешь у него?



Уже не лагерь, но еще и не воля. 1946 г.

— Бываю изредка.

— Выпиваете?

— Как же. Выпиваем. Без этого нельзя.

«Ну и забрали меня, и дали десятку», — спокойно повествует дед. А на другом полустанке работал его знакомый обходчик Прохор. Встречает его Тимофей в тюрьме в общей камере.

— Ты здесь за что? — спрашивает дед.

И Прохор рассказывает: вызывают его в желдоротдел НКВД.

— Ты такого-то знаешь? — и называют ту же фамилию, что и деду Тимофею.

— Не знаю я такого, — отвечает Прохор.

— И не бывал у него, и не выпивал с ним? — спрашивают.

— Как же бывать и выпивать, коли я его не знаю?

И Прохору дали десять лет. Все это дед рассказывает спокойно, просто, как само собой разумеющееся, естественное дело.

И ведь верно. Строится железная дорога Котлас — Воркута, проходчики нужны, а кто добровольно поедет работать к полярному

краю, да еще за гроши? Так решилась проблема: и люди нашлись, и платить им не надо — будут работать за пайку.

В ЦЛ меня разыскал профессор Лев Соколомонович Полак, с которым я раньше работала на нефтеперегонном. Вместе с другим ленинградским профессором Всеволодом Константиновичем Фредериксом он предложил администрации создать научную группу для работы по оборонной тематике. Начальство Ухт-Ижемлага утвердило и группу, и темы: ускорение бурения с помощью поверхностно-активных веществ; ультразвуковой крекинг ухтинской нефти с целью получения высокого выхода легких нефтепродуктов. И мы начали работать.

Всеволод Константинович, как и Полак, был «террористом» со сроком 10 лет, хотя он никогда не держал в руках даже игрушечного оружия. Причислен он был к террористам потому, что был племянником гофмейстера двора его величества государя Николая II графа Фредерикса. Немолодой человек лет шестидесяти, красивый, высокий, седой, с очень ясными голубыми глазами, было в нем что-то по-детски чистое.

Всеволод Константинович был женат на сестре Шостаковича Марии Дмитриевне. У них был четырнадцатилетний сын. Всеволод Константинович получал посылки от Дмитрия Дмитриевича. В одном из писем профессор, рассказывая о своей работе, упомянул мое имя. В следующей же посылке оказалась плитка шоколада с надписью «для Е. Г.» и подпись Шостаковича. Как я жалею, что не сохранила ни одной обертки с автографом великого композитора. Но до того ли было?

Работа по первой предложенной Полаком и Фредериксом теме, основанной на исследованиях П. А. Ребиндера, не дала ожидаемых результатов. Зато вторая тема принесла удачу. При ультразвуковом крекинге количество легких погонов по сравнению с обычным крекингом значительно возросло. Эти результаты были отправлены техническим отделом лагеря в Москву с представлением о досрочном освобождении участников научной разработки метода. Участниками были мы трое: два террориста и я — социально-опасная.

Ответа не было. Мой срок кончался в ноябре 46-го года, а мои коллеги, имевшие по десять лет, должны были освободиться позднее. Москва молчит, а мы продолжаем работать. И ждем досрочного освобождения или, как все, амнистии в связи с Победой. Ждем, хотя и знаем, что все бывает иначе: вызывают и дают расписаться в получении нового срока. Нервные срывы, самоубийства, сумасшествия — на фоне общенародного ликова-

вания. Страшная война завершилась, страшное для нас не закончилось.

Мы и ждать перестали, когда в августе сорок шестого пришли документы на досрочное освобождение работавшей на оборону группы. Это было за три месяца до формального окончания моего срока. Неожиданность была для меня особым благом: самые тяжелые дни и месяцы тюрьмы и лагеря — первые после ареста и последние — перед освобождением. Наступает страх перед выходом на волю, встречей с близкими, огромное нервное напряжение, пытка ожиданием. И чем больше срок, тем острее протекает эта лихорадка. А восемь лет неволи, разлуки с детьми — это огромный срок... Ничего не помню, что произошло после того, как начальник ЦЛ Векилов вызвал меня в свой кабинет и объявил об освобождении. Векилов предупредил меня: я должна назвать пункт своего местожительства, причем столицы республик и областей, пограничные районы, морские порты исключаются.

Я не хотела оставаться в Ухте. Не хотела поселить детей в этих гиблых местах, в местах заключения с особыми порядками и правами. И как и куда потом отсюда выбираться? Детям ведь учиться нужно. Нужно уезжать. Это решение было окончательным.

О том, что было, трудно писать. И, наверное, эти заметки не появились бы вовсе, если бы не мой друг, физик Мира Мстиславовна Яковенко. Она скрупулезно фиксировала мои воспоминания, и это позволило мне написать книгу о пережитом.

Е. Ж.